

Роман
Сенчин

Дождь в Париже

Роман



Издательство
АСТ
Москва

— Мёсьё, мёсьё! Та-ра-ра-ра... — не будящая, а баюкающая нежноголосая тарабарщина, и тут же родное:

— Э, вставай, приехали!

Тычок в плечо.

Топкин с великим трудом открыл глаза, сквозь боль в них и вокруг — в висках, затылке — огляделся, соображая, где он, что с ним, зачем его тормозят.

— Счас ведь полицию вызовут. Тебе это надо?

Над ним усмехающееся широкое лицо тетки лет под шестьдесят. Рядом узкое, молодое, встревоженное — стюардессы.

А, да, самолет... Уже долетели...

— Все нормально, спасибо, — хрипнул Топкин через налипшую в горле слизь от выпитого виски.

Много выпил и почти не закусывал — шоколадка, пластинки сыра... Давно так не позволял себе, а тут сорвался... Действительно сорвался — взял и полетел в Париж.

«Взял и полетел...» Да нет, долго готовился, копил деньги, решался. А мечтал — так, наверно, всю жизнь.

Одно из первых воспоминаний: он с родителями гуляет в городском парке. Папа, в красивой

форме с золотыми погонами, катит перед собой коляску, в которой его, Топкина, сестра Таня. Рядом с папой — мама. Темно-синее узкое платье, туфельки постукивают по асфальту... Топкин, которому года три-четыре, отбегает вперед и любитесь на родителей, высокую коляску. Он не понимает, что любитесь, — ему просто хорошо.

Начало лета или конец весны. Нежно-зеленые, молодые листья тополей. И в воздухе плавает тоже нежная, какая-то юная песня.

«О-о-о шанз-элизе, о-о-о шанз-элизе-е...»

Топкин — тогда просто Андрюша — еще не знает про громкоговорители, развешанные в парке на столбах, — он уверен, что сама природа рождает ее, эту чудесную мелодию, непонятные, но красивые слова.

«Мама, а про что эта песня?»

«Она о самом красивом городе в мире», — говорит мама и смотрит куда-то вверх, словно пытаясь увидеть миражи этого города.

«А как он называется?»

«Париж, сынок. Он называется Париж».

Андрюша тихонько повторяет новое сложное слово: «Паризь... Паризь...» И когда оно уже готово вращаться в сознание, в ту ячейку мозга, которая предназначена для понятия «лучший город мира», вспыхивает недоумение, такое сильное, какое бывает только у детей, начавших узнавать мир: «А наш Кызыл — не самый лучший?»

Папа улыбается, но как-то странно, половиной лица: одна половина улыбается, а другая будто кривится.

«Лучший, — отвечает он за маму, — но по-другому... Пойдемте дальше, к каруселям».

Дождь в Париже

Андрюшу сажают в красную ракету, и он летит. То поднимается высоко-высоко, почти к вершинам тополей, то опускается к земле... Он первый раз на этой карусели. До этого родители разрешали кататься на лошадках, которые кружатся медленно, мягко покачиваясь. А тут — ракета. Почти настоящая. Когда она поднимается, Андрюша перестает дышать, вжимается в пахучее, размякшее от жары кожаное сиденье. Ему кажется, что он навсегда покинул родителей, больше не вернется к ним, не ступит на траву...

Десяток секунд в вышине разрастались до целого путешествия сквозь Вселенную, пушистые ветки тополей становились планетами, редкие облака — опасными туманностями, небо — бездной, далекие горы Саяны — границей этой Вселенной, и, когда ракета снижалась, Андрюша даже не с радостью, а с удивлением видел маму и папу, коляску. Родители махали ему, а он только растягивал губы, боясь оторвать руки от стальной скобы-поручня...

Потом Андрюша Топкин первый раз в жизни ел сахарную вату, весь перемазался, и мама долго оттирала его возле фонтана на центральной площади парка. Потом катались на лодке по протоке Енисея, оставив коляску на пристани, и папа так сильно греб, что лодка мчалась, как катер; мама крепко прижимала к себе годовалую Таню. Потом сидели в летнем ресторане и ели шашлык... И хотя, конечно, из громкоговорителей лились другие песни, но в душе Топкина всё это хорошее, чудесное, первое настоящее, стройное воспоминание осталось окрашенным той песней — «О-о-о шанз-элизе-е...»

И вот спустя почти сорок лет он вот-вот увидит этот лучший город в мире, лучшую улицу в лучшем городе — Шанз-Элизе, Елисейские Поля.

Шел по длинному рукаву, проложенному из самолета в аэропорт, нес на плече легкую сумку. Хотелось воды, курить, хотелось чего-нибудь такого, что вынет боль из головы, из-под глаз, волеет бодрость и силу... Зря переборщил. Но что еще оставалось, проделывая длинный путь сюда? Длинный не по расстоянию даже, а по затраченным усилиям, сгоревшим эмоциям...

Этот Новый год — год, который уже кончается, — встречал один. Впервые в жизни. Тридцать первого декабря спал до обеда, заставлял себя лежать в постели с закрытыми глазами... В голову лезли и лезли воспоминания, и в основном горькие: о потерянном, о сделанном неправильно, о поражениях, которые осознаешь лишь спустя время, когда ничего нельзя вернуть, переделать, — они долго казались победами...

Топкин всячески — и так и сяк — гнал их, эти похоронные воспоминания, вытягивал из прошлого светлое, теплое. Такого было тоже немало, но, оказавшись рядом с горьким, светлое становилось не светлым и теплым. Будто маралось и остывало... Топкин физически чувствовал, как клетки мозга, по-разному окрашенные, боролись друг с другом. Черные побеждали. Приходилось бросать в бой резервы — откуда-то из груди порции светлого. На несколько минут они вытесняли черноту, расширяя яркое живое пространство, но очень быстро черные вновь становились сильнее, заливали светлые клетки своей горькой волной.

Истомившись, Топкин распахнул глаза, уставился в потолок. Вместо воспоминаний стал стро-

Дождь в Париже

ить планы на будущий год. Что бы такое сделать, что запомнится незамутненно светлым, как некоторые воспоминания детства... Что бы такое придумать?..

В прошлом августе ему исполнилось сорок лет. Он решил отметить круглую дату, хотя знал, что сорокалетие справлять не стоит: плохая примета.

«А, фигня, — помнится, отмахнулся, — до полтинника, может, не доживу. А доживу — вряд ли захочется отмечать с музоном, плясками».

Забронировал стол в клубе «Горыныч» на тридцать мест, принялся обзванивать оставшихся в городе одноклассников, друзей юности, тех немногих, с кем близко, по-человечески сошелся позже — на тех работах, которые перепробовал к своему сорокату. Были еще девушки, женщины, много девушек и женщин, девушек, превратившихся в женщин и даже тётенок, но их приглашать не стал: жена наверняка бы не поняла.

Да, в том августе у него еще была жена — Алинка. Но жена — это... Когда-то Топкина поразило предельно циничное, мерзкое, как он решил тогда, в семнадцать лет: «Жены — дело наживное. Жены не переведутся». Он, влюбленный в одноклассницу и видящий женой только ее, перестал общаться с тем, кто сказал такое. Но потом, по мере движения по жизни, понял, что слова эти справедливы. И у него до Алинки были две жены. Были свадьбы, обмен кольцами, марш Мендельсона, штампы в паспорте... А сколько между ними было тех, что могли бы стать женами, — десятки...

Теперь Алинка далеко, она теперь почти не жена — сообщила, что подает на развод. Пускай. Но то, что и сын тоже не рядом — тоже, считай,

потерян, — давит как камень. Только фамилия и отчество указывают, что Андрей Топкин — отец Даниила Андреевича Топкина, ныне шестилетнего жителя города Боброва Воронежской области. Чтобы его увидеть, нужно добираться черт знает сколько времени с кучей пересадок. Дольше, чем до Парижа.

В сентябре прошлого года Алинка с Даней уехали. Год назад. С тех пор Топкин сына не видел...

И вот не верь в приметы... Тревожность появилась, еще когда обзванивал тех, кого хотел увидеть на днюхе. Многие были не в городе — сезон отпусков, некоторые, оказалось, переехали за то время, пока не встречались. Один из одноклассников умер, и Топкина задело, что ему не сообщили, не позвали попрощаться, помочь похоронить. Город-то на самом деле небольшой — еле-еле за сто тысяч жителей перевалило. А русских при этом осталось от силы... Мало, в общем, осталось, много меньше, чем было в восьмидесятые. И живут эти остатки разрозненно, каждая семейка — отдельно. Как прячутся...

Набралось гостей человек пятнадцать, и Топкину пришлось звонить в «Горыныч», просить, чтобы стол сократили: «Человек на семнадцать сделайте. Салаты, вино, водку, горячее...»

Вторая проблема возникла перед самым празднованием — к Топкину подошли охранники клуба: «Вы же знаете наш принцип — тувинцев мы видеть не рады. У них свои места».

Действительно, по негласному, но строгому закону клуб считался русским. Здесь были русские хозяева, русская охрана, русская кухня, русские официантки. В определенные дни происходил лег-

кий — топлес на несколько секунд — стриптиз. А главное, атмосфера была для этих мест особая. Нельзя сказать, что вот прямо какая-то русская, но и не такая, что царила в остальных клубах, ресторанах, кабаках города вроде «Хаан-клуба», «Баян-гола», «Юрты», «Чодуры»...

«Горыныч» располагался в бывшем ангаре-складе бывшего пивзавода. Пиво никогда на заводе не делали, зато выпускали очень вкусную газировку «Буратино» и «Дюшес». Теперь же само здание завода стояло заброшенным, с выбитыми стеклами, обрушившимися перекрытиями, а в ангаре плясала, отмечала праздники, ела и пила сохранившаяся в городе русская молодежь и те, кто хотел оставаться молодежью.

Топкин уговаривал пропустить своих гостей-тувинцев, сделать исключение.

«Они русские тувинцы», — заверял.

«Все они здесь русскими были тридцать лет назад, — усмехнулся пожилой уже охранник. — И что теперь...»

Тут появился Игорь Валеев — с ним Топкин учился в одной школе, на два класса младше, — ныне подполковник ФСБ, тоже приглашенный на день рождения. Топкин пересказал ему суть дела, и Игорю, которого охранники знали, много времени и слов не понадобилось — хотя видно было, что это не доставляет ему удовольствия, — чтобы их убедить.

«А потом сами будете возмущаться, что последнее место толобайцы заполонили».

Застолье началось вроде бы радостно, хорошо, но постепенно тосты и разговоры становились всё более серьезными, а потом и явно грустными. Мало

кто из сидевших за праздничным столом видел свое будущее здесь определенным и прочным, большинство, хоть и занимали немалые посты, имели денежную работу, считали время до пенсии — а пенсионный возраст в республике, приравненной к районам Крайнего Севера, наступал для женщин в пятьдесят, а для мужчин в пятьдесят пять лет — или ждали выслугу лет, как Игорь Валеев, чтобы уехать кто в Красноярский край, кто в Новосибирск, кто на Кубань. Готовили там себе почву — строили дома, покупали квартиры. Топкин же, по словам жены, «не шевелился», хотя почва была подготовлена: ее родители в Воронежской области.

Они переселились туда два года назад, и с тех пор Алина заводила разговоры о переезде.

«Что нас ждет здесь? Никаких перспектив. Благо бы ты какой-нибудь шишкой был, а то — мастер по установке стеклопакетов. До старости ведь не будешь их ставить».

Топкин поначалу обещал подумать, отговаривался тем, что не может тоже вот так взять и продать квартиру — «я за нее с первой женой не рассчитался», — рвануть неизвестно куда.

«Да почему — неизвестно?! — всплескивала руками Алинка. — У родителей дом прекрасный, а если не хочешь с ними, отдельный купим».

«И что я буду там делать, в этом Боброве? Я посмотрел в инете — двадцать тысяч населения, масляной заводик. Маслобоем идти работать?»

«У родителей ферма. У них можно...»

«Я не крестьянин», — усмеялся Топкин.

На время Алинка вроде забывала о переезде, а потом возобновляла уговоры с новой силой:

Дождь в Париже

«Не хочешь в Бобров, давай в Воронеж. Здесь сейчас программа помощи молодым тувинским семьям — нашу двушку хорошо возьмут. Цены почти московские, я слышала. И ту часть за нее твоей бывшей отдадим... Купим там такую же. Или три комнаты — родители обещали помочь».

«Я подумаю, Алин».

Топкин упирался. Без крика, но твердо. Он и сам не мог объяснить себе, почему не соглашается. Ведь логически — переезд нужен. Ради сына, по крайней мере. Ему в школу вот-вот, а хорошие учителя почти все сбежали, оставшиеся подвижники стареют, из-за Саян теперь сюда никого и миллионными не заманишь... Да и вообще, сколько можно жить словно в осаде. По вечерам идешь по улице и ожидаешь от каждого встречного или нагоняющего удара ножом, шилом, заточкой или просто кулаком. Запираешь дверь в квартиру, куда-нибудь уходя, и не веришь, что, когда вернешься, она, даже стальная, будет цела, квартира не обчищена до последнего половика. Подходишь к продавщице и гадаешь — продаст ли она тебе кусок колбасы или сыра или демонстративно сделает вид, что не понимает по-русски, а то и спиной повернется...

И ведь Кызыл — даже не родина его, Андрея Топкина. Родился он недалеко от Благовещенска, где служил тогда папа, но с Кызылом связаны первые ощущения себя как части огромного мира, здесь случилась первая любовь, здесь оставались друзья, пусть и немного их, но все-таки. А те, что уезжают, будто исчезают, гибнут где-то в огромной стране.

И еще не мог Топкин согласиться уехать потому, что когда-то давно, в девяносто третьем, когда

его собственные родители и сестра решили уезжать, он остался.

Запомнился, виделся ярко, детально момент: документы на продажу квартиры оформлены, контейнер с вещами отправлен и папа, глядя на Андрея серьезно, чуть ли не с угрозой, спрашивает:

«Не пожалеешь?»

«Не пожалею», — даже не стараясь изобразить сомнение, отвечает Топкин, тогдашний девятнадцатилетний Андрей.

Да, тогда он был тверд, тогда он был счастливым молодоженом; его родители и родители Ольги, его первой жены, совместно купили им вот эту двухкомнатку в относительно новой пятиэтажке в неплохом районе; Андрей учился в пединституте, но тесть, золотые руки на эстэо, устроил ему денежную подработку — оформление повреждений автомобилей. На аварии Топкин не ездил, а в свободное время перепечатывал сначала на машинке, а потом на появившемся компьютере набросанные от руки описания вмятин, разбитых фар, сломанных бамперов.

Родители уехали — уехали далеко, на другой край распавшегося Союза, который очень быстро стал по-настоящему другой страной. Эстония... И папа, и мама были родом оттуда, из русских семей, живущих там с восемнадцатого века. Поэтому гражданство им хоть и с натугой, но предоставили. По праву происхождения.

Поселились на русском пяточке — на берегу Чудского озера, в деревне Рае, рядом с городом Муствеэ, который чаще называли Черноводьем. Поначалу по телефону и в письмах — тогда еще принято было писать письма на бумаге — жаловались,

Дождь в Париже

даже вроде раскаивались, потом же стали восторгаться, звать к себе, затем снова жаловались, но уже с некоторой ноткой ностальгии, а теперь разговаривают по телефону и в скайпе ровно, спокойно, как-то даже не совсем по-русски... Топкин за эти двадцать лет побывал у них четыре раза. Скучал, позевывал, глядел на чужеватую жизнь наморщившись. Снова ехать туда не тянуло.

Почему скучал и морщился — не мог себе объяснить. И не пытался. По природе не твердый, не упорный, он когда-то решил, что его родина — вот здесь, в небольшом городе, окруженном горами, что его река — Енисей, его деревья — толстые кривые тополя, его лето — испепеляющее жаром, а зима — выжигающая морозом... Решил тихо, в душе, и не мог представить, что станет иначе...

А Алинка могла. И после долгой борьбы с Андреем, двух пробных поездок в этот неведомый Бобров в конце концов уехала туда навсегда. Вместе с сыном. Случилось это через месяц после застолья в «Горыныче».

Андрей звонил, уговаривал вернуться, верил, что вернется, но Алинка не вернулась. Наоборот, поставила ультиматум: или он продает квартиру и мчится к ним, или она подает на развод.

Удивительно, но его не испугали такие слова, не возмутили, не заставили что-то предпринять. Он как-то успокоился. Понял, что, если даже согласится и сделает всё, как она требует, прежней их жизнь вместе не будет. Не будет больше счастливых минут, разговоров душевных, открытых улыбок, той дружбы, что делает семью настоящей. Горькой осадок этого ультиматума ничем не вымыть. К тому же он не чувствовал страха, что может боль-